

Что Мя зовете: Господи, Господи,  
и не творите яже глаголю?

Лк. 6, 46

Суворов не имел предшественников; да и последователя, не только ему равного, но хоть подобного, вероятно, не скоро дождется. В волевых величиях преемственности нет. Те, которые считают Суворова продуктом его времени, конечно, ошибаются и просто по рутине повторяют избитую историческую затычку, что «великие люди являются не создателями, а выразителями новых форм и общих стремлений». Может быть это прогрессивно и интересно, но не всегда верно: бывает и так, бывает и совсем наоборот; в применении в Суворову это как раз наоборот и представляет не более как повторение логической ошибки, давно замеченной и выраженной формулой: *post hoc ergo propter hoc*.

Родился он, правда, в 1730 году, т.е. после предшествовавших лет (*post hoc*); но родился в период упадка военного дела в России, что бы ни говорили исследователи, расположенные на все свое смотреть сквозь розовые очки; родился притом от отца, бывшего военным только по названию: откуда же, спрашивается, могла явиться та мнимая преемственность, которую иные исследователи тщатся установить с усердием, достойным более соответственного применения? С точки зрения вечности, бесспорно, конечно, что «в жизни общественной и военной деятельность отдельного человека почти ничтожна» и что «как бы ни был велик гений, он не в состоянии переменить общее движение в ту или другую сторону; если в обществе нет стремлений к тому»; но дело в том, что эти самые положения именно и показывают, что Суворов есть явление исключительное, спорадическое.

Во-первых, он ни на волос не переменял общего движения, хотя и совершил массу великих дел.

Во-вторых, кто же не знает, что предшественников он не имел, школы не оставил и на целых шестьдесят лет по смерти был вполне основательно забыт? А его система воспитания и образования войск была бы и совершенно утрачена, не оставь он в наследие грядущим поколениям свою бессмертную «Науку побеждать» и приказы, отданные австрийцам в 1799 году. Может быть возразят, что его вспоминали в минуту катастроф 1805 и 1807 годов? Не только вспоминали, а еще раньше даже памятник ему в греческом вкусе поставили.

Но вспоминать имя такого человека, а не следовать его системе, не вдохновляться его делами, именно и значит забыть. Даже не только забыли, а как бы в насмешку над великой тенью так втерли солдату ненавистное Суворову «не могу знать», что оно слышалось, да и слышится, чуть не на каждом шагу. Для него чем солдат был живее, восприимчивее, тем лучше; после него первая забота была вытравить «сей вредный дух» и обезличить, омашинить солдата. На скамейке усидеть легче и спокойнее, чем на горячем боевом коне. Правда и то, что на скамейке далеко не уедешь.

Даже современники его ничем от него не позаимствовались, хотя победа, не изменявшая ему всю жизнь, могла бы, по-видимому, навести на мысль, что позаимствоваться как будто есть чем; а о потомках и говорить нечего. Сих последних потянуло именно в сторону «общего движения», т.е. за прусским королем, невзирая на то, что прусского короля били, а Суворова не били, как жаловался последний в одну из горьких минут своей жизни. Изо всего этого явствует, что если *post hoc* было, то *propter hoc* вовсе не было, и А. Ф. Петрушевский совершенно прав, утверждая, что в «стае екатерининских орлов» Суворов есть явление исключительное по размерам военного дарования, по оригинальности военного искусства, по самобытности своей военной теории и поэтому не может быть назван ни естественным продуктом своего века, ни логическим шагом предшествовавшей русской военной истории.

Природа не справляется с настроениями эпох и выбрасывает в жизнь людей по непостижимым, ей одной ведомым законам. Иные нараждающиеся опережают людской табун, и тогда они остаются одинокими, не взирая на поразительные фактические доказательства того, что правда природы вещей на их стороне и что за ними идти было бы не дурно; и выходит по евангельскому слову – «возопиют камни, и не имут веры»; таков был Суворов. Иные отстают, т.е. опаздывают родиться; эти всегда усиливаются повернуть на старое. Наконец, большинство попадает как раз в табун, и только эти последние действительно являются продуктом своей эпохи и попадают в выразители «новых (!) форм и общих стремлений». Новых по пословице: «Тех же щей, да пожиже (иногда погуще) влей». А щито в настоящем случае заварил император Петр III, а доварил император Павел I.

В современных военных реформах Суворов не принимал никакого участия, да это и не было его делом; даже думаю, что он к этим реформам был равнодушен, проникнутый великим боевым идеалом, который внушал ему, что та либо другая организация безразличны, если люди настроены прямо смотреть в глаза опасности и бесповоротно жертвовать собой.

Не могу не заметить при этом особенности военного искусства, заключающейся в том, что ни одна, может быть, область народной жизни не показывает ложности теории прогресса в такой мере, как искусство. Так как война есть дело по преимуществу волевое, то само собой понимается, что если жизнь складывается так, что не вызывает необходимости энергического проявления воли, военное искусство должно по необходимости падать в той его части, которая относится к воле, т.е. в главнейшей. Чем этот упадок более, тем инстинкт самосохранения заявляет о себе и тем разные, даже мелочные, усовершенствования, отвечающие уму, т.е. самосохранению, оцениваются несравненно выше их действительного значения.

Тут-то и начинают плодиться как грибы новые теории мнимого прогресса военного искусства и рассказы вроде того, что некоторые принципы Суворова и вообще прежних великих полководцев устарели; какие именно – об этом прогрессивные исследователи по скромности умалчивают. Хотя не трудно понять, что если в сложном произведении (человек x оружие (холодное, огнестрельное) x местность x случайности) только часть одного множителя меняется на величину, большую для него, но ничтожную в общем, то произведение существенно измениться не может; хотя, повторяю, нетрудно это понять, однако редко кто понимает, так как ум – покорный слуга самосохранения – этому противодействует. И, в конце концов, прогресс видимый оказывается регрессом в действительности. Эволюция римской жизни это показывает убедительнее всяких рассуждений: стоит припомнить республиканский период по сравнению с византийским. В последний период вооружение, строй, машины, крепости, конечно, были совершеннее, чем в первый, а победа все же перешла на сторону варваров. У них машин не было; но главный множитель – человек – был полон доблести и самоотвержения, чего у византийцев не было. Получился, следовательно, видимый прогресс, действительный регресс.

В современной жизни то же самое. За серьезной постановкой военного дела при Петре следует то, что известно из истории; победы, правда, бывали, но побеждал не солдат, а русский цельный человек, т.е. побеждал не благодаря школе, а невзирая на школу. Да притом вообще для победы не нужно быть сильным, а только немного менее слабым, нежели противник. В блистательный екатерининский период – прогресс; за ним начинается и совершенствуется период, приведший к Крымской кампании и который поэтому едва ли можно назвать прогрессивным. Параллельно с ним развивается высокопоучительный кавказский эпизод, наглядно показавший, что для войны нужно нечто иное, а не то, что делалось тогда в европейской России; примеры величайшей доблести, невероятных подвигов, являвшихся чистыми представителями «теории невозможного», запечатлены историей кавказской армии; но это никого не убеждало, даже наоборот: эта армия все время оставалась у плацпарадников в подозрении распущенности.

К чему же я все это веду? Веду к тому, что громадное большинство военных не может в мирное время воздержаться от требований того, что на войне вовсе не нужно, и от забвения того, что на войне нужно. Весьма немногие задаются даже вопросом, чему учить и как учить, а учат по былинам доброго старого времени: как учили отцы и деды. Извиняюсь за отступление. Впрочем, оно пригодится потом.

## II

Обратимся к Суворову и припомним, как было дело. Отец предназначает мальчика служить по гражданской, поелику мал, хил, тощ и неказист. Мальчик, между тем, выученный на медные гроши грамоте, набрасывается на Плутарха и на все военно-историческое, что только находит в отцовской библиотеке; от природы живой, веселый и подвижный, он засиживается за книгами или скачет верхом в непогоду, возвращается усталый, промокший, пронизанный ветром. Все это тогда, когда ему, вероятно, было не более десяти лет. Очевидно, мальчик странный; но если бы судьба послала ему настолько гениального педагога, что он был бы способен прозревать, что из этого мальчика выйдет, то, полагаем, и он ничего бы иного не придумал для укрепления тощего и хилого организма – укрепления, правда, спартанского, в конце коего могло получиться и разрушение вместо укрепления. Очевидно, что перед нами возникает представление об одном из тех предрасположений, которые стремят человека к известной специальности помимо его, иногда даже вопреки ему самому и, конечно, вопреки всем окружающим. Я понимаю, что раз-другой попасть под дождь и холод никакой мальчик не откажется, но чтобы возводить это в программу и исполнять ее методично, настойчиво с десяти лет – таких мальчиков нет, если они не отмечены Перстом.

Отец был, конечно, встревожен, но, по счастью, ломать сына не стал, благодаря в особенности генералу Ганнибалу, который посоветовал не препятствовать Суворову, тогда одиннадцатилетнему, в его слишком определенных стремлениях. И вот, он погрузился в изучение Плутарха, Корнелия Непота, деяний Александра, Цезаря, Аннибала, Карла XII, Монтекукули, Конде, Тюренна, принца Евгения, впоследствии маршала Саксонского, продолжая это в течение своей почти семилетней солдатской и затем и всей офицерской службы. Общее образование тоже не было забыто: пройдена история, география, даже начала философии; артиллерию, фортификацию и, вероятно, начала математики взял на себя отец.

Во всем этом было много для ума; но для сердца, если не исключительно, то весьма преимущественно, дал пищу Плутарх, обладающий тайной пробуждать избранные натуры. Ниже увидим, что в формировании духовного облика Суворова он сыграл немалую роль.

## III

Чему же научила Суворова служба, и что он почерпнул из книг?

Поступил он в лейб-гвардии Семеновский полк, известный и тогда своей исправностью, хотя и в нем были служаки всякого сорта: от солдат, державших при себе дворовых по 17-ти человек, и до таких, которые отлучились из караула без позволения и брали с колодников деньги. Суворов, державший только двух дворовых, не принадлежал ни к первым, ни тем более ко вторым, и быстро установил свою служебную репутацию как человека, на которого всегда и во всем можно положиться.

Но если внутреннему порядку и гарнизонной службе можно было выучиться в Семеновском полку, то боевому делу едва ли. Подготовка к сему последнему ограничивалась строевыми учениями тогдашнего типа, без малейшего намека на боевое дело: метали ружьем, строили разные фигуры и, конечно, ходили церемониальным маршем – последнее в изобилии. Правда, иногда еще упражнялись в пушечной и ружейной не стрельбе, а пальбе, т.е. вхолостую. В старину в мирное время учили всяким ненужностям, и чем мир был продолжительнее, тем, конечно, усовершенствование этих пустяков шло дальше: усложнялись приемы, придумывались занятия вроде беления амуниции, пудрения волос. Нужно было бессрочного, а впоследствии 25-летнего

служивого занять; и вот занимали, повторяя из года в год то, что он знал с первого, много со второго года службы. И каждый год начинали все с тех же азов, что и с новобранцами.

Дело в том, что вогнать человека в привычку беспрекословного и быстрого повиновения, – повиновения не рассуждая, не думая, а рефлексивно, – есть основная задача воинского воспитания, и упражнение в пустяках, конечно, этой цели достигает; но оно не только не дает никакого представления о боевом назначении воина, а с течением времени даже отвращает от него, вплоть до выработки афоризмов, вроде «ничто так не портит войска, как война». И оно понятно, что при такой системе занятий этим должно кончиться: все эти пудрения, беления амуниции, метания ружьем, от долгого в них упражнения, из средства обращаются в цель, и чем дальше, тем больше вытесняют даже сам намек на собственно военное дело.

Понятно, что из подобной школы Суворов мог вынести только привычку к исполнительности и порядку: привычка, бесспорно, важная и необходимая во всякого рода деятельности, но не доставало одного: применения выработанной привычки к тому делу, для коего солдат назначается и без практики в коем он не солдат, а кукла для столь же красивых, сколь и бесплодных представлений.

Кажется, чего проще было попасть на мысль, что вогнать в повиновение можно ведь и упражняя войска в прямом их деле, а не в плацпарадных фокусах, имеющих с ним общего только то, что страдательную роль в обоих случаях играют те же солдаты? Да, чего проще? А вот до Суворова этот открытый всякому секрет не только не приходил никому в голову, но даже и тогда, когда Суворов сделал это великое открытие и начал его применять (с каким успехом, известно), он последователей себе не нашел. С производством в армию Суворов увидел нечто еще более грустное:

«Русская армия в молодые годы Суворова переживала состояние переходное, тяжелое. Большинство офицеров в ней были мало или вовсе неграмотны, полковые командиры злоупотребляли своей обширной властью; полковые штабы коллегиально вершили все дела, служба отправлялась только исподволь. Таким образом, и солдатская жизнь, и первые годы офицерской службы Александра Васильевича были для него отрицательными образцами. Невежество, неустройство, вялость, неспособность, вот что встретил в действующей армии Суворов; движения войск были медлительны, переходы иногда не более 8 верст в сутки, дисциплина расшаталась. «Я сам, - писал про себя Суворов, - будучи зачислен в армию после долгой и честной службы, три года никуда не годился. Они (полковники) расслабляют своих офицеров – сибариты, но не спартанцы, а делаются генералами – подкладка остаётся та же.» Тот же отпечаток лежал на тактической подготовке войск. Наступление и перестроение в эпоху Семилетней войны совершалось так медленно, что пехотному полку на построение требовался целый час, а для армии – сутки.»

Из всего сказанного видно также, что ни в гвардии, ни в армии Суворов не нашел образцов того спартанского образа жизни, которому он себя подчинил впоследствии и оставался ему верен до конца своего поприща. Немногому выучился он и на войне, давшей только отрицательные примеры; но, чтобы их отрицательность оценить, нужно уже было и в то время иметь свой критерий; ведь сотни и даже тысячи участников в этих отрицательных примерах находили, что все идет как следует и что иначе и идти не может. В том и особенность исключительных натур, что они видят вредное и опасное там, где другие не видят ничего особенного, или видят даже хорошее.

#### IV

Но из книг он выучился необъятно многому: качественно, а не количественно; и выучился такому, чего сотни и даже тысячи читающих те самые книги в них не находили. Выучился, одним словом, «открытому секрету». В этом его самобытность, в этом его исключительность. Да, у него было много учителей, и с этой точки он, пожалуй, и не оригинален; да и учителя не оригинальны настолько, что иногда кажется, будто они один у

другого списывали; но дело в том, что этот от века и часто повторяемый открытый секрет, видимый и ясный Суворову, оставался невидимым и непостижимым для других даже тогда, когда они с дипломатичной точностью его перебалтывали.

Страшная сторона военной теории заключается в кажущейся легкости ее усвоения и в великой, для многих даже неодолимой, трудности проведения ее в жизнь: ибо усвоение – дело ума, а проведение в жизнь – дело воли. Для наглядности этого беру пример из другой области, но отчасти аналогичной военной, ибо в ней чувство личной опасности тоже играет большую роль: чего кажется проще теория ходьбы по канату на большой высоте? Переставляй ноги так, чтобы вертикальная линия, идущая от центра тяжести тела, постоянно находилась между подошв и падала в ось каната; а попробуйте исполнить!

Этот открытый секрет, настолько простой, что словам, его выражающим, можно научить даже попугая, большинству не дается еще и потому, что в каждой книге, особенно военной, человек читает собственно самого себя, т.е. задерживает только то, что соответствует его прирожденным свойствам и степени его подготовки к чтению.

Взяв это в расчет, нетрудно заметить, что читатель бывает разный: у одного все читаемое проваливается как сквозь решето, безо всякой задержки; у другого, как в плохой сортировке, задерживается шелуха, но зерно отлетает; у третьего зерно задерживается, но нет воли посадить его в жизнь и взрастить заботливо, настойчиво и последовательно; наконец, четвертые способны задержать, посадить и взрастить. Эти последние считаются единицами, и когда судьба ставит их у дела – дают великий плод. Таков был Суворов.

## V

В чем же это зерно, этот открытый секрет, и где Суворов его выловил?

Рим его научил, что солдата должно беречь, но баловать не должно; что работа солдата в мирное время должна быть такова, чтобы война для него была отдыхом; но работа не бесцельная, а или подготовительная – боевая в прямом смысле, или общепользная государственная, вроде проведения дорог; и потому в практике мирного времени, в подошвах сандалий – свинцовые подкладки, а мечи, которыми легионеры упражнялись в нанесении ударов (а не в приемах), - двойного веса.

У Цезаря Суворов задержал форсированные марши и то, что только тот может требовать чрезвычайных усилий от солдат, кто способен сам при случае дать таковые. У новейших писателей он вычитал то же самое, конечно с оттенками, в особенности у маршала Саксонского: у последнего «сердце человека», «война в ногах», «люди на войне делают не то, что нужно, а то, чему их учили»; т.е. утвердился в разумении великого значения для победы духовной силы, движения, силы привычки над человеком.

Вооруженный этим «открытым секретом», Суворов стал его применять, как только попал на самостоятельную работу, и создал систему воспитания и образования войск, поражающую логической выдержкой и художественной законченностью.

Начинает он с церкви и с двух школ (в то время!): для офицерских и для солдатских детей. Строят, конечно, солдаты; ибо строят для себя же, т.е. для полка.

Затем непрерывные усиленные марши, днем и ночью, во всякую погоду; при случае – штурм; на всяком учении, перед разводом, упражнение в атаке непременно на видимую цель и в сквозной – против товарищей. При удобстве расположения – сквозные атаки не только с пехотой, но с конницей и артиллерией. Следовательно, вся повадка римская, но с собственными прибавлениями. Нет, правда, свинцовых подметок и ружей двойного веса, ибо условия снабжения и вооружения не те; но непрерывная и плодотворная (а не бесцельная) работа налицо. Работа притом подготавливающая к бою даже до испытания чувства опасности и до практики в преодолении этого чувства, насколько то в мирное время возможно.

Нельзя не пожалеть, что его «Суздальское учреждение» не сохранилось в подлиннике; но полагаю, что в окончательной форме оно вылилось в «Науку побеждать», следовательно, для нас не утрачено.

При такой системе занятий ни солдаты, ни офицеры не могли усвоить иных привычек, кроме тех, которые даются боевыми понятиями и боевыми представлениями. Они, следовательно, и в бою могли делать только то, что нужно и что они выучивались делать на мирных занятиях. Привычка – вторая натура; и, как заметил один из современников, для воспитанников суворовской школы бой не представлял ничего нового, ни неожиданного, даже до увечий, а иногда, а иногда до смертных случаев.

Случались они, конечно, редко, но случались. У Суворова на это было свое оправдание: «Тяжело в учении, легко в походе; легко в учении, тяжело в походе»; «одного убью, десять выучу», хотя, конечно, до этого у него никогда не доходило. Смело можно сказать, что не убивал он даже и одного на тысячу; т. е. гораздо меньше того, что бесцельно гибнет на железных дорогах, фабриках, в копиях, от дурной пищи, от дурного помещения, от бестолковых занятий. Если вспомнить, что в образцовых войсках потом говорилось: «Десять забей, одного выучи», то разница получается ощутительная, особенно приняв в расчет, что это говорилось в имя идеалов, не имевших с боем ничего общего.

Но этим суворовская система не ограничивалась: глубокий знаток человеческого сердца, он придавал силе слова великое значение и не только закреплял при помощи слова все сделанное, но добавлял то, чего сделать было нельзя. Отсюда его «Словесное поучение солдатам о знании для них необходимом, или Наука побеждать». Учение у него продолжалось не более часа, а поучение иногда тянулось два и больше. Словами же он пользовался для практики солдата во всегдашней готовности отвечать на вопрос не теряясь и отнюдь не прибегая к уклончивому «не могу знать»; а также для внушения ему отвращения к вредным словам, вроде, например, ретирады. В этом последнем случае он доходил до педантизма, который может показаться даже смешным людям, не отдающим себе отчета во вреде для человека привычки к скверным в военном смысле словам. Ведь за каждым скверным словом скрывается и скверное понятие, которое за словом проникает в душу человека. Это все забывают; но Суворов не забывал. Некоторые слова могли его просто выводить из себя: именно те, которые подсказывал инстинкт самосохранения или из него же проистекающая неуверенность в своих силах. Так, например, сикурс (помощь) у него нельзя было говорить, а резерв (запас) – можно. Ибо желание отличает сознание слабости, а запас и сильному не стыдно иметь. «Опасность есть слово робкое и никогда, как и сикурс, не употребляемое и от меня заказанное» и т. п. Итак, сначала показ, а потом закрепление его рассказом: великий был знаток человеческого сердца вообще, а русского в особенности, Александр Васильевич. «Всякий воин должен понимать свой маневр!» - опять «открытый секрет», который должен быть врезан неизгладимыми чертами в сознании всякого начальника от самого малого и до высшего; а между тем многие ли им проникнуты?

Ведь, кажется, не трудно понять, что человек может исполнить с духом и толком только тогда, когда знает, чего вы от него хотите; а многие ли это делают? Не чаще ли случается, что скажут и в каком строе и куда идти, и на какой фланг равняться, а зачем идти – не скажут? И если это в мирное время не практикуется день в день, час в час, то можно ли ожидать, что оно на войне само собой явится по щучьему веленью?

Кто не признает, что войска, прошедшие подобную школу, конечно, были выше по воспитанию и образованию любой из современных нам армий, не говоря уже о тогдашних? Они были чистейшими представителями теории невозможного еще тогда, когда во Франции она даже и не снилась. Туртукай, Фокшаны, Рымник, Измаил в особенности – лучшее тому свидетельство. Суворов до такой степени веровал в действительность своей системы обучения, что возвращался к ней и в военное время для подготовки к самым трудным положениям. Так, перед штурмом Измаила он по ночам упражнял войска в штурме укрепления сильной профили, нарочито до того насыпанного.

Сказал он, что на такой штурм можно решаться только раз в жизни и – да простит мне великая тень! – сказал неправду: пошли ему судьба такой же и второй, и третий штурм, - и решился бы, и взял бы.

И вот почему прусского короля били, а Суворова не били.

Его недостижимое величие как воинского педагога видно из того, что он силой одного мышления создал в мирное время то, чего самые победоносные армии, как революционные и наша кавказская, достигали только путем войны действительной, да притом многолетней, т.е. под давлением внешней необходимости. И в этом смысле нет ему равного ни в какую эпоху всемирной истории.

До 1799 г. его системе недоставало европейского освящения; судьба послала великому старцу и это последнее, как бы в свидетельство того, что его система применима со всякими войсками, на всякой местности и против всякого неприятеля, лишь бы во главе стояли люди даже и не его роста, а хоть его типа. И все это было у нас, и все это было забыто. И возмездие за забвение ждать себя не заставило. Едва прошло несколько лет после его кончины, как вместо Фокшан, Рымников, Измаилов, Требий, Нови пошли Аустерлицы, Фридланды. Открытый секрет скрылся.

- Все это так, может быть, скажут, - но в чем же собственно открытый секрет? Нельзя ли покороче?

- Секрет в том, что бесполезно на войне вредно вводить в мирное обучение; иначе получается извращение понятий и привычек; секрет в том, что в солдате нужно признавать человека и соответственно сему с ним во всем поступать.

- Только и всего?

- Только и всего.

- И это секрет?

- Да, секрет, и притом открытый, ибо его все знают; но тем не менее секрет, ибо его никто или почти никто не применяет; следовательно, не может или не хочет видеть. Скажут, что Суворов все взял с войны: отчего же сотни, если не тысячи тех, которые участвовали в наполеоновских войнах – участвовали и храбро, и с толком – не находили по замирении ничего лучше, как вернуться к тихим учебным шагам и ружейным приемам с усердием, достойным лучшего применения? Ведь у них боевой опыт был посерьезнее опыта субалтерна Суворова в Семилетнюю войну?

## VI

Говоря о Суворове, нельзя пройти молчанием его чудачества: и потому, что они были свойством его природы, и потому, что сослужили делу немалую службу. Плели на него по этой части и правду, и неправду, но больше лгали, иногда злобно, и преимущественно из зависти. Были у него, конечно, и крупные недостатки, поскольку он был человек и ногами стоял на одной земле со всеми прочими; но головой-то поднимался куда как высоко над этими прочими.

Слыл он и пьяницей, и полупомешанным. Такие люди в минуты одержания священным безумием действительно могут показаться и пьяными, и полупомешанными людям золотой середины, которые в своем сереньком прозябании не ощущают ни потребности в необыкновенных нервных напряжениях, ни расположения к ним. И поэты в минуты вдохновения тоже кажутся и пьяными, и полупомешанными таким людям, и это в обыкновенное время; во сколько же раз впечатление полупомешанности должно увеличиваться в минуты, когда косит смерть и когда от успеха или неуспеха зависит иногда судьба отечества, не говоря уже о собственной репутации? А кто это испытывал поневоле, тот привыкает к поднятому нервному и в спокойном состоянии духа. Недаром сказано, что нет великого человека без зернышка помешательства.

Собственно чудачества Суворова истекали из его природы; это наше родное юродство, не напускное, а действительное, т.е. такое, какому человек сопротивляться не может и какое с годами, конечно, растет, особенно если в жизненной обстановке оно обретает себе пищу. А это в предлежащем случае вполне имело место.

Припомним время: это был, во-первых, расцвет крепостного права; во-вторых, совершенное отсутствие понятия о, так сказать, служебном, самоотверженном патриотизме. Великая Немка научила русских гордиться русским именем; но своекорыстия,

взлелеянного вековым рабством, искоренить, конечно, не могла: служили все своему личному, а не общерусскому; если при этом кое-что перепало России, то, конечно, только по дороге. Всякий тащил, что только мог, служа своему самолюбию, тщеславию, карману, брюху с окрестностями. Самый грандиозный и поэтому наглядный образчик такого попутного служения родине представляет великолепный князь Тавриды; слава России ему, конечно, была дорога, потому что была дорога великой Екатерине; но дорожке ее, конечно, было всяческое самоугождение. Служить-то он служил родине, но и вознаграждал себя за это широкой рукой и землями, и деньгами, и дворцами, и устройством своей родни.

В труде А.Ф. Петрушевского отношение Потемкина к своим обязанностям видно из описания очаковского сидения: прибавлю к нему две небольших жанровых картинки.

Не знаю, как и когда попал Светлейший в Святогорский монастырь на реке Донце. Место чудное, сам монастырь стоит на грандиозных меловых конусах. Понравилось место Светлейшему и за распоряжением не стало дело: монастырь упразднить, имение взять на князя. Только впоследствии монастырь был восстановлен усердием жены одного из его наследников, Т. Б. Потемкиной, конечно, без возврата имения.

Другая картинка: заезжает раз Потемкин к одной даме, родственной или знакомой, не знаю. Дама говорит, что пришлось нанять гувернантку, а платить дорого: нельзя ли ее куда-нибудь пристроить на жалованье? Светлейший обещал; и через несколько дней дама получает уведомление, что гувернантка зачислена в один из драгунских полков ротмистров. Вот в какую компанию попал на общественное служение Суворов; кто по чину, а кто и не по чину, но брали все; а он, воспитанный на Плутархе, слился с идеалом бескорыстного, самоотверженного служения родине.

При таких условиях мог ли он явиться открытым, свободным обличителем укоренившихся порядков? Конечно, нет; его заклевали бы: он и обращается в правды ради юродивого. Он не мог высказать прямо того, что накопило на душе; не мог и молчать; и потому прибег к языку Эзоповскому, рабьему, благодаря коему высказывал житейскую, часто горькую, правду, не стесняясь лицом. Но не лгал никогда, а правду прощали за шутовскую форму: чудак-мол; всегда таким был, таким и останется.

Это его юродство вверх; посмотрим, чем оно выражалось и какие плоды давало вниз. При крепостном праве солдат видел в офицере не командира, а барина; и офицер разумел солдата, в свою очередь, не подчиненным в петровском смысле, а рабом. Вот внутренний склад понятий; а Суворову нужно было не раба лукавого, из-под палки работающего, а свободного человека, честью и во всю свою собственную волю готового принести высшую жертву христианской любви за други своя; как же это сделать? Да все при помощи того же юродства, благодаря коему он солдата поднимает до себя.

И солдат чувствовал себя с ним свободно; он видел в нем самого старшего товарища, а не недосыгаемого барина над его барами. При таких отношениях Суворова к солдату могли ли они не отразиться и на отношениях к последнему офицерству?

Утверждаем категорически: должны были отразиться, хотя современных документальных свидетельств на это и не имеем. При таких отношениях процветанию палки места не было, и те естественные духовные качества, с какими простолюдин попадал на службу, не забивались, даже не подавлялись, а напротив, крепили и развивались. Суворову нужны были не безмолвные, задеревеневшие нравственные кастраты, а свободные, предприимчивые, безгранично смелые и упорные люди, и он этого достигал благодаря своему юродству. Таким образом, будучи правды ради юродивым вверх, он был любвеобильным Христа ради юродивым вниз.

Взяв это в расчет, придется признать, что это юродство особого рода, какого давай Бог побольше, а не то шутовское, казавшееся некоторым, особенно придворным кавалерам, средством выскочить, обратить на себя внимание.

Чье внимание, спрашивается, Суворову нужно было обратить на себя?

Екатерины? Даже смешно это сказать. Не такая это была дама, чтобы ее можно было поймать на столь нехитрое колечко, как шутовство.



Да Суворову в этом и надобности не было, так как она знала его еще с Семилетней войны. И всем, порывавшимся видеть в его чудачестве разные затаенные виды, ответ находим у него же: «Помилуй Бог, не трудитесь, я вам себя раскрою: цари меня хвалили, солдаты любили, друзья мне удивлялись, враги меня ругали, придворные смеялись. Эзопом являлись при дворах, побасенками говорил я правду; был Балакиревым для пользы отечества.» Кажется, ясно! Некоторые находят еще, что шутовскими выходками он прикрывал свое раболепство. Не говоря уже о том, что многое, по современному раболепное, в его время таким не было; нельзя не признать странным раболепство, вызывающее у человека полный достоинства ответ Потемкину («Кроме Бога и Государыни никто меня наградить не может»), просьбу в Кременчуге, обращенную к самой матушке царице заплатить задолженные им за квартиру, кажется, два или три с полтиной, тоже в ответ на вопрос, чем наградить его; нравоучение Прошке при посещении одного графа, что значит верно служить и какую награду можно за это получить.

Заправские раболепы при одной мысли о такой предерзости могли упасть в обморок. Он был гибок и сдавал, пока было можно: именно пока ему не мешали дело делать; но эта гибкость покоилась на гранитном дне, доводить до коего нажим было неудобно. Весь эпизод с Императором Павлом прямо показывает, что когда доходило до святейших военных устоев, он не задумывался ставить все на карту.

## VII

Память такого человека может и должна быть почтена всячески; но памятник нерукотворный – проведение в жизнь его великого «открытого секрета», во всех разветвлениях гениально им разработанного, - есть единственно его достойный. Без этого все другие памятники будут напоминать только текст, взятый к этому очерку эпитафией.

М. Драгомиров  
21.05.1900  
г. Киев